



ПОЛИТИКА

Г.И.Мусихин

АВТОРИТЕТ ВЛАСТИ И АВТОРИТЕТ РАЗУМА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕРМАНСКОГО
И РОССИЙСКОГО ОПЫТА КОНЦА XVIII –
НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Понятие авторитета является одной из главных *содержательных* категорий определения власти. Можно сказать, что именно авторитет придает власти *человеческий* характер, так как освобождает повиновение из сферы случайного вынужденного и обязательного, наделяя его качествами *необходимого и должного*. Авторитет придает власти моральный оттенок или, как минимум, элемент практической уместности, так как авторитетная власть всегда уместна. Х.Арендт определила авторитет, как право требовать от других повиновения, обусловленного «безусловным признанием со стороны тех, от кого требовалось повиновение»¹. Для Р.Даля авторитет есть состояние, когда имеет место выполнение властных решений, которые представляются легитимными и выгодными для подчиненных².

Особое значение авторитет приобретает в переломный момент, когда власть должна продемонстрировать свою способность к управлению, то есть показать себя адекватной окружающему ее историческому контексту. В такие периоды бывает особенно сложно поддерживать единство социальной системы, основываясь не на чистом принуждении, а на нормативном порядке, признаваемом основными акторами социальной жизни. Власть как средство поддержания единства в социальной системе тем больше воплощает себя в авторитете, чем больше она основана на позитивных действиях³. Насильственное принуждение к действию или принуждение к действию под угрозой санкции со стороны власти, напротив, уменьшает успешность этого действия и изменений им вызываемых. Оно понижает общественно-политический престиж власти, так как оправдание ее мероприятий если и имеет место, то носит негативный характер⁴. То есть авторитет защищает власть тем, что дает ей (в форме согласия подвластных) *нормативно-ценностную* поддержку. При большем приближении видно, что эта поддержка крайне ненадежна, так как может в любой момент исчезнуть, если подвластные перестанут воспринимать действия властей в позитивном свете. Подобную особенность авторитета Х.Хартманн обозначил понятием *функциональный авторитет*, о котором ниже будет сказано более подробно⁵. Последний представляется в высшей степени ситуативным явлением и нуждается в постоянной *авторитетной* защите. Таким авторитетом является *легитимность*.

¹ Arendt H. *Macht und Gewalt*. Muenchen, 1970. S. 8.

² Dahl R. *Die politische Analyse*. Muenchen, 1973. S. 62.

³ Подробнее о власти как позитивном действии см.: Hondrich K.O. *Theorie der Herrschaft*. F.a.M., 1973. S. 79–84.

⁴ См.: Cohen A.R. *Attitude Change and Social Influence*. 1964; Brehm J.W., Cohen A.R. *Exploration in Cognitive Dissonance*. Evanston, 1962.

⁵ Hartmann H. *Funktionale Autoritaet*. Stuttgart, 1964.

В действительности легитимность можно рассматривать как особый случай авторитета. Ее особенность состоит не столько в количественных, сколько в качественных отличиях: количество авторитета переступает порог нового качества легитимности. Благодаря такому переходу власть получает шанс на осуществление своей воли, несмотря на сопротивление, так как здесь имеет место не только *признание успешности* действий власти, но и всеобщее *признание принципов*. Среди таких – убежденность в том, что эта воля имеет своей основой союз с Богом, основана на династической преемственности либо на рациональном и законном выборе народа. В этом случае признание власти идет не от ее мощи, а опирается на качество, стоящее вне ее (власти) контекста, качество, которое может рассматриваться как *источник* власти. Подобное обстоятельство страхует авторитет от возможных неудач. Легитимность ведет к устойчивой *институционализации* власти, а не только обеспечивает устойчивость властей предрержащих. Вследствие своей относительной прочности и опоры на принципы, находящиеся вне непосредственной производительной силы власти, легитимность можно рассматривать в качестве *самостоятельного источника* власти⁶.

⁶ Подробнее о легитимности как самостоятельном источнике власти см.: French J.R.P., Raven J.B. *The Bases of Social Power* // *Studies in Social Power*. Ed. Catwright. Michigan. 1959.

Однако при переходе авторитета в плоскость практической политики первостепенное значение приобретает проблема движущих сил самого авторитета. Здесь вступает в силу логика идеологической борьбы. В результате представители различных взглядов на человека, общество и государство, не отрицая необходимость авторитета в политической жизни, вкладывали в его понятие различное (зачастую противоположное) содержание. Можно сказать, что с конца XVIII века дискуссии по поводу того, что считать действительно авторитетным в политической сфере, стали одним из главных векторов движения политической мысли Германии и России. В условиях, когда *ancient regime* провозглашался значительной частью общества несоответствующим требованиям Современности, вопрос о том, что есть источник истинного авторитета, приобретал особое значение. Инициатива в данном вопросе принадлежала последователям философии Просвещения и ее наследникам, которые сформировали представление об авторитете, считавшееся господствующим в политической мысли (но не в политической жизни) на протяжении XIX – начала XX веков.

Первоначально философия Просвещения придавала понятию авторитета негативный смысл. Авторитет ассоциировался со старым режимом и подвергался критике. Однако следует отметить, что для немецкой философии никогда не был характерен подобный подход. Немецкие мыслители – сторонники Просвещения пытались дать рациональную трактовку авторитета, но уже самим фактом рационального подхода осуществлялась деформация авторитета, тем самым последний превращался в объект пропаганды, приобретая двойственный характер: не только защищать стабильность существующей власти, но и критиковать ее.

Сторонники Просвещения в Германии были достаточно умеренными критиками существующего авторитета политической власти. Однако они видели главный источник этого авторитета в рациональном мышлении. Поэтому можно сказать, что ключевым понятием здесь был авторитет разума, без которого любое властное действие превращалось в чисто физическое насилие. Уже со времен Канта решающим фактором общественно-политической жизни провозглашаются разумные аргументы, то есть рациональный авторитет, который является отличительной чертой гражданского состояния. Именно благодаря авторитету разума возможна совместная деятельность людей по созданию политического сообщества, дающего власти возможность существования. Данная разумная совместная деятельность есть та самая общая воля, которая конституирует правовой порядок. Более того, разум есть та предпосылка, без которой человеческая воля вообще невозможна, так как «воля есть вид причинности живых существ, *поскольку они разумны*» (курсив мой – Г.М.)⁷. Только под воздействием разума общая воля становится силой, которая по мнению Канта превращает «естественное состояние людей в гражданское. Эта воля есть закон, применение закона есть публичное право или справедливость»⁸. Поэтому «воля разумного существа должна рассматриваться также как законодательствующая, так как иначе разумное существо не могло бы мыслить долг в качестве цели самого себя»⁹. То есть именно вера в рациональные умозаключения ведет к тому, что справедливость заключается в неразрушимой связи закона и власти. В данном контексте власть только тогда *авторитетна* и справедлива, когда она *разумна*. Согласно наблюдению К.Фишера Кант настолько увлечен рационализацией политической реальности, что «политическую триаду политической власти ... сравнивает с практическим умозаключением, которое расчленяется на большую посылку, малую посылку и вывод»¹⁰. Благодаря процессу рационализации законы, представляющие собой выражение всеобщей воли, *могут быть ошибочными в человеческом смысле, но не в политическом*. Они могут быть жестоки, но не могут быть несправедливы. Таким образом, деспотизм теряет авторитет не столько в силу своей жестокости, сколько из-за своей неразумности. Только такое понимание кантовской логики может объяснить утверждение философа о том, что суверен не имеет права на несправедливый поступок, хотя обладает для этого достаточной силой, то есть он может совершить данный поступок, но последний будет неразумен и потому неправомерен¹¹.

Именно благодаря авторитету разума возможно достижение гражданского равенства как равенства перед законом, когда становится невозможным одностороннее отношение соподчинения, создающего с одной стороны права без обязанностей, с другой – обязанности без прав. Поэтому для Канта авторитет разума – главная позитивная *ценность*, которая оправдывает существование политической власти как ценности негативной, главная цель которой – препятствовать препятствиям права. Именно поэтому Кант устраивает столь серьезную «про-

⁷ Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 289.

⁸ Цит. по: Фишер К. Иммануил Кант и его учение. СПб., 1906. С. 148.

⁹ Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 276.

¹⁰ Фишер К. Иммануил Кант и его учение. СПб., 1906. С. 149.

¹¹ См.: Кант И. О поговорке «Может быть, это верно в теории, но не годится для практики» // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. С. 319.

верку» разума, ведь более высокой *человеческой* инстанции авторитета не существует. Понимая опасности, которые может таить в себе чистое рациональное обоснование должностования, Кант, проблематизируя умозаключения чистого разума, лишает последний права принимать окончательные решения по поводу того, *что* должно делать. Заключение, принятые на этот счет чистым разумом, могут быть (и должны быть) рациональны, но они не в состоянии претендовать на звание *истины*. Истинный *авторитет* разума обнаруживается не в том, что делается, а в том, *как* это делается. Тем самым в действие вступает практический разум, который есть главный *моральный* авторитет человеческих поступков.

Благодаря возможностям практического разума появляется шанс на существование у априорного нравственного закона в ноуменальном мире, «так как при помощи эгоистических склонностей, которые естественным образом также внешне противодействуют друг другу, разум может использовать механизм мира как средство для того, чтобы осуществить свою собственную цель – предписание права»¹². Главный недостаток морального зла, несмотря на всю его силу, – неразумность, поэтому «моральное зло ... по своему умыслу ... внутренне противоречиво и саморазрушительно и ... путем медленно совершающегося прогресса, уступает место принципу добра»¹³.

Авторитет разума помогает преодолевать эмпирическую разобщенность политического мира и придает власти моральную оправданность в применении силы по отношению к миру свободных людей, вследствие чего Кант утверждает, что «гражданское устройство есть отношение свободных людей, которые ... подчинены принудительным законам, ибо этого требует разум ... не принимающий соображение ни одной из эмпирических целей»¹⁴. Таким образом, политическая власть, претендующая на то, чтобы выйти за рамки чисто физического принуждения, всегда должна следовать авторитету разума, который конституирует право как действительность категорического императива в эмпирическом мире. Не обладая правом, человек не может даже подчиняться, так как не имеет права заключать договор.

Подняв авторитет разума на такую высоту, Кант неминуемо обозначил проблему взаимосвязи между увеличением знания и концентрацией власти. Тем самым был достаточно четко сформулирован вопрос о том, является ли знание властью. Первый утвердительный ответ (если не считать Античности) дал Макиавелли. Однако у него власть-знание не усиливала мощь властвующих, а в первую очередь демаскировала политику, заставляя господство «на месте преступления» в ходе политического процесса. Хотя Просвещение формально отвергло Макиавелли, однако идея *власти знания* была взята на вооружение многими просветителями. Так, известный представитель немецкого Просвещения середины и второй половины XVIII века И.Юсти считал, что знания способны «разумному использованию власти», то есть экспертное знание на службе политической власти должно способствовать благу народа¹⁵.

¹² Кант И. К вечно-му миру // Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 1. М., 1997. С. 421.

¹³ Там же. С. 457.

¹⁴ Кант И. О поговорке «Может быть, это верно в теории, но не годится для практики» // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. С. 283.

¹⁵ Justi J.H.G.v. Gesammelte politische und Finanzschriften. Ahlen, 1976. Bd. II. S. 140.

В отличие от данной просвещенческой тенденции, не видевшей непреодолимых препятствий для утверждения авторитета знания в политике, Кант осознавал неоднозначность взаимоотношений власти разума и власти. Он достаточно откровенно заявлял: «Не следует ожидать, чтобы короли философствовали, или философы стали королями, *но этого не следует также желать*: так как обладатель власти неизбежно погубит свободное суждение разума» (курсив мой – Г.М.)¹⁶. Характерно, что в данном фрагменте Кант, усугубляя картину, использует для обозначения власти не слово «Macht» (собственно власть), а термин «Gewalt» (более точно соответствующий значению слова «принуждение»). По сути, философ задает принципиально отличную от Просвещения причинно-следственную логику конфликтного взаимодействия авторитета разума и авторитета власти. Просвещение считало, что власть как чистое принуждение должна подчиняться могуществу разума, Кант же видел опасность того, что в ходе слишком тесного взаимодействия с реальной властью практический разум потеряет из виду категорический императив и тем самым утратит внутренние основания своего существования. Философ по сути дела утверждает, что знание само по себе не обладает никакой *реальной властью*, она есть только у государственных институтов, но последние нуждаются в рационализации своего господства, наделяя тем самым разум *реальным авторитетом*. Фихте, считавший себя последователем Канта, не захотел придерживаться кантовской дихотомии власти и разума, объединив их категорией совести разумного властителя, так как по мнению Фихте «дело совести правителя, *понимающего* свое назначение, поддерживать просвещение» (курсив мой – Г.М.)¹⁷.

¹⁷ Цит. по: Фишер К. История новой философии. Т. 6. СПб., 1909. С. 514.

¹⁸ Leibniz G.W. Saemtliche Schriften und Briefe. Berlin, 1924. Bd. IV. T. 1. S. 533.

¹⁹ Ibid. S. 531.

²⁰ См.: Vodipo-Malamba E.I. Freiheit und Macht // Internationale Dialog Zeitschrift. № 7. 1974. S. 128–134.

²¹ О соотношении понятий авторитета и власти духа см.: Roettgers K. Texte und Menschen. Wuerzburg. 1983. S. 15.

Необходимо отметить, что кантовская дихотомия власти и авторитета разума не была широко воспринята его современниками-просветителями. Куда большим успехом во второй половине XVIII века пользовались в Германии взгляды на соотношение разума и власти, выдвинутые Лейбницем. Этот философ и математик попытался достичь единения разума и власти через авторитет *правовой свободы*, которую он отличал от свободы повседневной. Последняя понималась как властное желание делать то, что хочешь, «то есть здесь имело место чисто негативное определение свободы. Правовая же свобода означала властное веление того, что должно»¹⁸. Можно сказать, что теория Лейбница была последней попыткой просвещенческой философии власти гармонично и непротиворечиво соединить свободу и нравственную нормативность. Не случайно Лейбниц основывал правильное соотношение духа и власти на «пропорции между понимаемым и властным»¹⁹. Некоторые исследователи считают, что проблема нравственного единства индивидуальной свободы и артикулирующей себя политической власти никогда после Лейбница не решалась так гармонично²⁰. Можно сказать, что для Лейбница понятие авторитета разума было фактически идентично понятию власти духа²¹. Тем самым трансцендентальная философия

фия Лейбница, при помощи дискурса о гармоничности и единстве разума, наделяла последний *абсолютной* властью.

После Лейбница необходимость поддержания авторитета автономного разума сформировала в немецкой политической философии неразрешимую апорию власти одного и свободы многих: расширение свободы могло означать как расширение власти над другими и их свободой, так и приобщение к возрастающей свободе властвования²².

²² См.: *Hersch J. Von der Einheit des Menschen. Zuerich, Koeln. 1978. S. 31.*

Попытку преодолеть противоречие между авторитетом разума и авторитетом власти предпринял Гегель. В отличие от Канта, который разделил власть и авторитет разума, весьма осторожно подходя к возможности их единения и не соглашаясь с Лейбницем, гармонически соединившим разум и власть как две неразрывные *составные части*, Гегель сделал разум сущностной характеристикой самой политической власти, так как она в лице государства «есть в себе и для себя разумное»²³. Именно в себе и для себя разумность делала власть субстанциональным единством и абсолютной самоцелью, «в которой свобода достигает своего высшего права по отношению к единичным людям»²⁴. По мнению Гегеля разум в сфере политики покидает область абстрактного и вступает во владение конкретным. Тем самым политическая разумность образует единство «всеобщей субстанциональной воли и субъективной свободы как индивидуального знания», и потому «она (разумность – Г.М.) состоит в *мыслимом*, то есть определяющем себя *всеобщими* законами и основоположениями, действовании»²⁵. Таким образом, политическая власть предстает не просто как разумное действие (преобладание разумности власти было уже у Канта), она является *мыслимым действованием* и уже потому разумна.

²³ Гегель Г.В.Ф. *Философия права* 1992. С. 279.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 280.

Наделение политической власти как таковой авторитетом разума вело к тому, что Гегель по-новому интерпретировал право и порождаемые им принципы конституционализма. Право не являлось для Гегеля автономной сферой самореализации законности, оно могло существовать только во властном контексте. Безусловно, не всякая власть была правовой, но право не могло существовать без власти. Поэтому философ видел в конституции не просто правовой порядок, а всю политическую организацию общества. В конституционной теории Просвещения доминировала тенденция рассматривать констелляцию власти преимущественно или исключительно как структуру правовых отношений. В противоположность этому Гегель исходил из проявления права *через* политическую власть.

Однако гегелевская интерпретация взаимодействия авторитета разума и авторитета власти не нашла широкой общественно-политической поддержки. Охранители отводили рационализму не самую положительную роль в сфере политической власти. Прогрессисты, в принципе готовые признать значение власти, не желали растворять в ней рационально обоснованные моральные ценности. Так известные теоретики прусского либерализма середины XIX века Карл фон Роттек и Карл Велькер в «Государственном словаре», изданном в 1845 году, писали:

²⁶ Rotteck C.V.,
Welker C.
Das Staatlexikon.
Altona, 1845. Bd. I.
S. XXXIII.

«Мы либералы ... хотим подчеркнуть и усилить моральное значение и авторитет княжеской власти»²⁶. Тем самым было подчеркнуто, что для немецкой прогрессивистской мыслительной традиции авторитет отождествлялся не с властью, а с нравственными ценностями, то есть деспотизму власти отказывалось в авторитете. Тем самым в основу властного авторитета ставились нормы и ценности *внеинние* по отношению к власти как таковой, то есть данный авторитет в представлении многих философов и мыслителей Германии был *несамостоятельным* явлением и нуждался в поддержке извне, что и являлось, по мнению этих авторов, надежным ограничителем властного самоуправления.

* * *

Если говорить о распространении авторитета разума в России, то следует отметить, что здесь подверглось проблематизации в первую очередь не столько соотношение рационального мышления и властной действительности, сколько недостаток или неукорененность данного мышления в России.

Данная проблематизация идет от Чаадаева, который вообще поставил вопрос о России как об историко-философской проблеме, и частным случаем последней выступала особенность распространения (а точнее – нераспространения) рационализма в России. Дело в том, что для европейской просвещенческой традиции (а тем более для немецкой философии, у которой так много почерпнула российская общественно-политическая мысль) рационализм был *не просто средством* познания действительности, он являлся достаточно автономной *ценностью*, которая обеспечивала распространение и укоренение гуманистических представлений. По мнению Чаадаева ценностного отношения к рационализму в России не сложилось, что повлекло за собой формирование грубого механицизма, в результате чего «прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят от первых, а появляются у нас неизвестно откуда»²⁷. То есть разум, авторитет которого в Европе был сопоставим с авторитетом власти и религии, в России не пользовался необходимым уважением, лишая посюстороннюю действительность народа логической и исторической преемственности. В результате «мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно»²⁸.

Именно недостаток рационализма не позволял России, по мнению Боткина, стать современной страной, так как основным содержанием Современности, с его точки зрения, становилось упрочение авторитета разума, который в Европе выступил против авторитета *ancient regime*, и последнему не осталось ничего другого, как вступить «в борьбу с мыслью, анализом, правом, вытекающим из сущности предмета, идеи, а не привязанным к ним извне или по преданию или предположению»²⁹. То есть на первых порах российские прогрессисты сконцентрировались на анализе недостаточности авторитета рационализма в российских реали-

²⁷ Чаадаев П.Я.
Полное собрание
сочинений и из-
бранные письма.
Т. I. М., 1991.
С. 326.

²⁸ Там же.

²⁹ Боткин В.П. Ли-
тературная кри-
тика. Публицисти-
ка. Письма. М.,
1984. С. 244.

ях, не уделяя достаточного внимания (в отличие от Германии) проблеме соотношения разума и власти.

Можно сказать, что эту работу за западников сделали славянофилов. Однако последние, будучи достаточно пессимистически настроенными по отношению к авторитету разума, старались не столько обнаружить проблемное соотношение власти и разума, сколько дискредитировать последний, уличив его в диктаторских наклонностях. Так Самарин достаточно безапелляционно утверждал, что «тирания рассудка в области философии, веры и совести соответствует на практике, в общественном быту, тирании центральной власти»³⁰. По сути дела Самарин уподобил политическую власть рационализму, из чего следовало, что «власть относится к обществу, как рассудок к душе человеческой»³¹. Поэтому торжество рационализма на Западе, заслуживая уважение у Боткина, со стороны Самарина встречало противоположную реакцию, так как именно «самодержавное полновластие рассудка» привело к кровавым опытам Французской революции.

Справедливо будет предположить, что именно критика славянофилов способствовала более серьезному анализу влияния принципов рационализма на общественно-политическую реальность. Особое место в этом деле принадлежало исторической школе права. Принадлежавший к этому направлению К.Д.Кавелин, будучи западником, выступил в защиту авторитета разума. С его точки зрения, как бы не относиться к влиянию рационализма в политике, без последнего государственная жизнь уже немыслима и даже опасна, так как «в общественной и государственной сфере действуют уже не непосредственные лица, а принципы, начала, представляемые живыми людьми»³². Попытка игнорировать внедрение рационализма во властную реальность является опасной иллюзией, которая объясняет, «почему все попытки перенести в государственную жизнь начала частного представительства оказались неудачными»³³. По мнению Кавелина Россия страдает не от наличия индивидуалистического рационализма, а из-за его отсутствия, вследствие чего «во всех слоях нашего общества стихийные элементы подавляют индивидуальное развитие ... мы слишком мало думаем; элемент мышления у нас почти равен нулю, не принимает почти никакого участия в наших делах и предприятиях, а потому и не входит определяющим, существенным элементом в наше мирозерцание и в нашу практическую деятельность»³⁴. С точки зрения философа такое положение привело к тому, что в России неадекватно поняли значение рационализма для Запада: «мы посмеивались над узостью европейской мысли, над ее точностью и педантизмом, не подозревая, что в Европе мысль не забава, как у нас, а серьезное дело, что там она идет рука об руку с трудными задачами действительной жизни и подготавливает их решение»³⁵. В России же, как считал Кавелин, рационализм никогда не обладал подлинным авторитетом, в результате чего сложился особый вид квази-рационализма, игрушка для ума, «которая способна испаряться в широкие отвлеченности, терять почву из-под ног»³⁶. Последнее выска-

³⁰ Самарин Ю.Ф. *Сочинения. М., 1877. Т. 1. С. 394.*

³¹ Там же.

³² Кавелин К.Д. *Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. СПб., 1899. С. 883.*

³³ Там же. С. 885.

³⁴ Там же. С. 885–886.

³⁵ Там же. С. 886.

³⁶ Там же.

звание звучит почти в духе славянофилов, но здесь есть одно принципиальное отличие: Хомяков и Киреевский подвергали сомнению авторитет рационализма в целом, критикуя прежде всего западный рационализм; Кавелин осуждает «чистый» рационализм не укорененный в действительности, существующий как бы вне времени и пространства, то есть вне временного контекста Современности и вне исторического контекста России. И поэтому частично его критика относилась к славянофилам, игра ума которых слабо согласовывалась с окружающей российской реальностью. Мыслительные «воздушные замки» (не важно – традиционалистские или прогрессистские) вряд ли могли обладать реальным влиянием и оказывать *авторитетное* воздействие на *авторитарную* власть.

Стремление наполнить авторитет гуманистического разума *позитивным содержанием, а не только логическим смыслом*, было характерно и для Б.Чичерина, поэтому, будучи гегельянцем, он тем не менее считал, что «степень развития свободы, место, которое она занимает в общественном организме, верховное или подчиненное ее значение определяются не абсолютными требованиями разума, а относительными требованиями жизни»³⁷. Однако в принципиальной оценке авторитета разума Чичерин оставался наследником Просвещения и наделял рационализм нравственным смыслом, благодаря чему «общение мыслей» уже самим фактом своего существования формулировало нравственные ограничения для политиков³⁸. Именно подобная причинно-следственная зависимость делает возможным то, что индивид «повинуется власти не потому только, что хочет, а потому, что должен повиноваться как нравственное существо и как член общего тела»³⁹. Данные чичеринские построения как нельзя лучше характеризуют направление политико-философской мысли, заданной немецкими философами и упавшее на благоприятную российскую почву: обособляя авторитет нравственного разума и политической действительности, объединять их в дуалистическое или диалектическое целое, подчиняя при этом мир политического нравственному миру.

Однако как показал дальнейший ход исторических событий, претензии рационализма на первенствующий авторитет оказались малоубедительными. Кроме того, гуманистическая составляющая рационализма, заданная Просвещением, постепенно выветривалась, превращая данный способ мышления всего лишь в механизм познания. Поэтому в начале XX века наблюдается явное разочарование в рационализме, последним всплеском которого было почти поголовное увлечение марксизмом в России на рубеже веков. При помощи марксистского подхода сторонники авторитета разума пытались вырваться за рамки чисто мыслительного мира и наделить данный авторитет конкретным материальным содержанием в его противостоянии с политической властью. Однако, как показала действительность, это противостояние не могло удержаться в ненасильственных рамках, а применение насилия лишило авторитет разума всякого смысла. Именно поэтому многие представи-

³⁷ Чичерин Б.Н. *О народном представительстве*. М., 1899. С. 46.

³⁸ Там же. С. 6.

³⁹ Там же. С. 84.

тели российской общественно-политической мысли начала XX века признали фактическую несостоятельность постулатов классического рационализма, идущего от Просвещения.

Одним из таких авторов был П.Струве. Он утверждал, что «власть не есть просто необходимое оружие упорядочения общежития, средство рационального распорядка общественной жизни»⁴⁰. Тем самым Струве выводил политическую власть из сферы влияния авторитета разума, наделяя ее собственным источником существования. Для него власть была уместна не потому, что являлась разумной. По его мнению «власть и властвование устанавливают между людьми такую связь, которая *нерациональна* и *сверхразумна* ... власть есть своего рода очарование или гипноз»⁴¹. По сути дела эта сходная с ницшеанской трактовка власти как иррационального начала, стоящего по ту сторону общепринятых и рационально обоснованных принципов морали. Однако в отличие от Ницше, не оставившего между властью и человеком ничего, Струве не покинул поле ценностного авторитета, а только лишил последний рациональной природы, заменив ее природой религиозной. Поэтому для него соотношение между личностью и властью «покоится не на рациональных, а на религиозных началах»⁴².

Сходных взглядов на роль рационализма в политической сфере придерживался и Н.Бердяев. В тот момент, когда российский конституционализм стал наконец приобретать легально-рациональные основания, философ заявил, что не видит «в конституционном строе ничего органического и реального, скорей ... механическую скрепу, отражение распада народного организма, потерявшего религиозный центр»⁴³. Данное высказывание Бердяев сделал в своем сборнике с красноречивым названием «Духовный кризис интеллигенции». Действительно, кому как не интеллигенции быть носителем гуманистических принципов рационализма? И.русская интеллигенция долгое время претендовала на эту роль. Однако воспринятые ею представления о первенствующем авторитете разума над авторитетом власти в условиях Современности оказались несостоятельными. Политическая власть модернизировалась, но не переставала быть самодостаточной в утверждении своего авторитета. В этом отношении российское самодержавие было родственно германскому (особенно прусскому) монархизму.

* * *

Можно сказать, что идеально-типическую модель германского монархизма как воплощения высшей политической власти создал Фридрих II, так охарактеризовавший распространение Просвещения в Пруссии: «Рассуждайте сколько угодно, только повинуйтесь»⁴⁴. Данное высказывание очень точно характеризует восприятие рациональных гуманистических принципов просветителей политической властью в Германии: за авторитетом разума признавалось право на существование,

⁴⁰ Струве П. *Patriotica: политика, культура, религия*. СПб., 1911. С. 99.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.

⁴³ Бердяев Н.А. *Духовный кризис интеллигенции*. СПб., 1910. С. 8.

⁴⁴ Цит. по: Huber E.R. *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*. Berlin und Koeln, 1960. Bd. II. S. 26.

но лишь в том случае, если он не оспаривал первенства властного авторитета.

Кроме того, немецкие монархи не просто «терпели» рационализм Просвещения. Принцип первенства разума *в руках королевской власти* дал возможность для выработки идеологии абсолютизма, которая не могла быть обоснована ни феодальными традициями с их иерархическим характером и приматом личной верности, ни идеей божественного происхождения монархии, так как потусторонняя санкция налагала на земную власть определенные нравственные ограничения. Именно при помощи просвещенческого рационализма можно было нейтрализовать сдерживающее влияние традиционалистских и религиозных факторов, так как примат разума, подвергая логическому анализу действительность, чаще всего видел в традициях и влиянии церковных институтов только человеческие предрассудки порожденные слабостью человеческого разума, которая должна быть преодолена. Данный критический потенциал Просвещения немецкие (особенно прусские) монархии использовали в целях упрочения собственной власти, освобождая ее от сдерживающего влияния старых традиций и религиозных догм.

При этом немецким монархиям действительно удавалось сохранять контроль над распространением авторитета разума и использовать последний в своих интересах. Особенно ярко данная тенденция проявилась в ходе реформ начала XIX века. В этот момент натиск Современности на Германию был более чем очевиден, так как нашел свое воплощение в наполеоновской армии, последовательно нанесшей поражение Австрии, а затем и Пруссии. В сложившейся ситуации последняя столкнулась с угрозой превращения в третьеразрядную европейскую страну. Чтобы преодолеть общенациональный кризис высшая политическая власть вынуждена была пойти на достаточно глубокие преобразования, направленные на рационализацию всей системы государственной власти. Однако ведущие прусские реформаторы (Штейн и Гарденберг) были далеки от гуманистических установок философии Просвещения, для них главное было в достижении практической выгоды в интересах прусской короны. Единственным искренним и последовательным прогрессистом в высшем эшелоне власти Пруссии был В.Гумбольдт, занимавший пост министра иностранных дел. Такая позиция привела к его отставке, когда особенно тяжелые испытания для Пруссии закончились.

Можно сказать, что период прусской истории от окончания наполеоновских войн до революции 1848 г. был временем триумфа совершенно самодостаточной рационально устроенной монархической власти. Создавалось иллюзия, что власть действительно саморазвивается в прогрессивном направлении, сохраняя полный контроль за общественно-политической ситуацией. Казалось, что власть действительно становится разумной, но при этом она не переставала быть самодостаточной и исходить только из собственного понимания общественного блага. То есть властная система создала собственную политическую реальность, к которой рациональный авторитет имел подчиненное значение.

Гегель попытался объяснить такое положение как саморазвитие абсолютной идеи через *действительную* власть, в рамках философии ему это удалось.

Однако реальность оказалась менее управляема, чем гегелевская философия. Заимствование рациональных приемов не только усиливало центральную власть, но и включало в общественно-политическую жизнь новые социальные слои и прежде всего новую буржуазию и представителей образованного сословия (в основном из университетской среды). По мере поступательного развития страны – а правительство Пруссии действительно достаточно эффективно способствовало модернизации – значительная часть подданных короны демонстрировала желание быть полноправными гражданами государства, иными словами *они желали отныне не только дискутировать, они не хотели более только повиноваться*. То есть определенная часть населения Пруссии, которую можно было в XIX веке считать наивысшим воплощением немецкой сущности, опираясь на авторитет разума, считала, что для поддержания авторитета государственного граждане должны были в той или иной форме быть допущены к процессу принятия политических решений. По сути дела речь шла о введении парламентского представительства. Последнее рассматривалось в интеллектуальных кругах Пруссии как предрешенное и неизбежное завершение модернизационных реформ начала XIX века.

Однако высшее политическое руководство страны, безусловно желая модернизации государства, не хотело лишиться самодостаточности своей власти. Подход к гуманистическим принципам просвещенческого рационализма был для прусской Короны не более чем инструментальным: используя рациональные приемы для упрочения своей власти, она не желала возводить принципы рационализма в ранг ограничительных ценностей.

Какое-то время данное противоречие удавалось держать под контролем. Но в 40-е годы XIX века верховная власть все менее могла справиться с ситуацией. Положение обострилось после смены монарха: с приходом нового короля Фридриха-Вильгельма IV возникли надежды на скорые изменения. Однако данным ожиданиям не суждено было оправдаться.

Результатом обострения ситуации стал революционный взрыв 1848 г., который разрушил миф политического романтизма о том, что германизм принципиально чужд духу революции, а политическая власть в Германии способна на широкие преобразования, для осуществления которых в других странах понадобились революции⁴⁵. При этом королевская власть пошла на применение оружия против своих подданных, что в условиях Пруссии середины XIX века казалось невыносимым. Возмущение столь жестокими действиями власти, кардинально расходившимися с основными мыслительными направлениями эпохи, было столь сильным, что высшее политическое руководство было вынуждено пойти на уступки и согласиться на принятие конституции, пре-

⁴⁵ См.: Meinecke F. *Weltbürgertum und Nationalstaat. München und Berlin, 1922. S. 71.*

дусматривающей создание общегосударственного представительного органа. Во Франкфурте был даже создан общегерманский парламент, который провозгласил объединение Германии и предложил королю Пруссии возглавить новое союзное государство. Настал краткий период равновесия между авторитетом разума и авторитетом власти: прогрессистский рационализм был достаточно силен, чтобы выступать от имени всей Германии, политическая власть демонстрировала достаточный разум и добрую волю, чтобы не препятствовать этому.

Однако как вскоре выяснилось запас доброй воли политической власти оказался невелик, а влияние прогрессивных либеральных норм и ценностей не столь мощным, как представлялось многими сторонниками преобразований. При этом высшее политическое руководство Пруссии, от которого во многом зависел дальнейший ход событий, просто проигнорировало решение общегерманского парламента, заявив, что оно не отражает истинного положения дел в Германии. Более того, была проведена ревизия уже принятой на тот момент Конституции Пруссии в сторону уменьшения демократизации. По сути дела это было нарушением права, но высшие сановники откровенно заявляли, что в ходе революционных изменений право конституирует тот, кто способен это сделать⁴⁶.

⁴⁶ См.: Huber E.R. *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Berlin und Koeln, 1960. Bd. II.*

Таким образом, итоги революции 1848 г. для сторонников рационального обоснования прогрессивного развития в духе гуманистических норм и ценностей Просвещения были неоднозначны. С одной стороны они выиграли борьбу за *авторитет*, иначе власть имущие не пошли бы вообще ни на какие уступки, но с другой – они проиграли спор за *реальную власть*, так как выяснилось, что спор этот они вели на чужой территории, и здесь разумно выстроенных, логически обоснованных аргументов было явно недостаточно. У политической элиты Германии было то, чего так не хватало их либеральным оппонентам, то, что Ницше назвал волей к власти,¹ выходящей за общепринятые представления о добре и зле. Обладая этой волей, власть имущие не задавались вопросом: *имеют ли они право* сделать то или другое, им достаточно было решить, *способны ли они это сделать*.

В данной ситуации авторитет разума, покоящийся на гуманистических ценностях, не мог одержать принципиальной победы. Хотя нельзя сказать, что он ничего не добился. В правящих кругах все более росло осознание того, что авторитет обладает внешними по отношению к ней источниками существования. Поэтому его явная потеря была для них опасна, так как его приобретение было возможно только за рамками самой власти. Во многом именно осознанием данного факта было продиктовано то, что прусская правящая элита не свела на нет все приобретения революции 1848 г., хотя обладала достаточной силой это сделать. Еще более драматично развивались события в Австрийской империи, где пришлось усмирять мятежную Вену при помощи артиллерии. Вернувшись в свою столицу император во имя спасения авторитета монархии отрекся от престола в пользу своего сына Франца-Иосифа. То есть

политическая власть шла на жертвы для сохранения авторитета, но не собиралась ради этого сокращать свое *исключительное* могущество.

Именно такая стратегия действий была принята верховной политической властью Пруссии, а потом и Германского рейха после революции 1848 г. И необходимо отметить, что долгое время данная стратегия приносила свои плоды.

Особенно удачной в этом отношении была деятельность Бисмарка. Величие его как политика проявилось в том, что он одновременно делал максимум возможного, чтобы придать политической власти рациональный авторитет, без которого бурно модернизирующаяся страна не могла развиваться. В то же время он предпринимал все возможные усилия для сохранения могущества монархической власти как последней инстанции принятия важнейших политических решений. За все годы своего многолетнего правления «железный канцлер» ни разу не пошел на явное нарушение конституции и не преступил права представительной власти данной конституцией предоставленные. Однако и конституция Пруссии, и конституция Германского рейха были созданы высшей государственной бюрократией, которая пыталась свести возможности представительной власти к минимуму. То есть была предпринята довольно успешная попытка *формализации рационального авторитета*, при этом способность и возможность задавать саму форму данного авторитета была сосредоточена в руках исполнительной власти с санкции института монархии.

Если говорить о соотношении авторитета разума и авторитета власти в России, то здесь было достаточно сходств с ситуацией в Германии, но в то же время обнаруживались существенные отличия.

Необходимо отметить, что высшие представители политической власти России (включая самих монархов) после реформ Петра I довольно часто апеллировали к авторитету норм и ценностей просвещенческого рационализма. Можно сказать, что начало данной тенденции положила Екатерина II, которая обосновывала многие свои преобразования ссылаясь на произведения ведущих европейских просветителей. Однако достаточно часто ее деятельность носила чисто «литературный» характер и многие начинания прогрессистского толка остались только на бумаге и даже в бумажном виде не были четко прописаны и обоснованы.

Новую качественно более высокую попытку обоснования властной системы авторитетом разума предпринял Сперанский. Его проекты рационального переустройства органов государственного управления можно сравнить с реформами Штейна–Гарденберга в Пруссии, которые разворачивались примерно в это же время и имели много общего с предложениями Сперанского. При этом главное сходство данных преобразований состояло в том, что, фактически, они имели одинаковую конечную цель: упрочение самодержавной власти в России и королевской в Пруссии *при помощи* принципов и норм рационализма.

Проекты Сперанского были настолько удачно и, можно сказать, профессионально, составлены, что надолго стали образцом для подра-

жания в ходе многих преобразовательских мероприятиях российских властей предрержащих. Здесь имеется в виду не конкретное содержание предлагаемых реформ, а сама логика построения аргументации и использованный семантический набор значений. Рискнем предположить, что именно Сперанский смог создать наиболее четкое *текстуальное* оформление особенностей российского самодержавия, составив Текст власти как рационально обоснованного господства. Данный текст постоянно «просвечивал» в деятельности самодержавия: будь то реформы 60–70-х годов XIX века или преобразования в ходе революции 1905–1907 годов.

Следует отметить, что политическая власть в России была ведущей силой, способствовавшей распространению авторитета разума в стране. Опираясь именно на нормы и ценности рационализма, самодержавие пыталось осовременить механизмы своего господства и придать им более устойчивые и одновременно более динамичные формы. Целенаправленное распространение рационализма проявилось в том, что университетская реформа оказалась самой последовательной и завершенной из всех преобразований Александра I в начале XIX века. Именно университеты были наделены реальной *властью* в сфере образования, так как вся страна была поделена на образовательные округа, во главе которых стояли университеты. То есть политическое руководство Российской империи начала XIX века фактически пыталось, само того не осознавая, разрушить кантовское противоречие между разумом и властью, доказывая авторитет разумной власти посредством авторитета власти разума.

Однако счастливый союз просвещенческого рационализма и политической власти длился недолго. Очень быстро выяснилось, что слой людей, формировавшийся благодаря целенаправленной образовательной политике власти, как правило был настроен критически по отношению к этой самой власти. А последняя, соответственно, не желала ставить себя в зависимость от авторитета разума как высшей силы по отношению к миру политического господства. Вследствие этого самодержавие кардинально изменило свое отношение к наследию Просвещения. В эпоху Николая I был взят курс на обоснование и целенаправленное насаждение идеи об особом русском пути, что нашло отражение в доктрине официальной народности. При помощи триады «православие, самодержавие, народность» власть пыталась дискредитировать авторитет классического рационализма и ослабить воздействие его норм и ценностей на политическую жизнь. Тем самым высшее политическое руководство стремилось лишить власть разума самостоятельного значения. Во многом вследствие этого государственные чиновники отрицали как западничество, так и славянофильство в качестве самостоятельных явлений общественно-политической мысли⁴⁷. Хотя и идеи славянофилов, и представления западников использовались властью в своих целях. Многие подходы славянофилов были применены при выработке доктрины официальной народности, а западнические

⁴⁷ См.: Рождественский С.В. *Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения*. СПб., 1902. С. 224.

принципы находили свое воплощение в рационализации механизма государственного управления посредством бюрократических процедур. То есть рационализм в условиях достаточно быстро модернизирующейся России был неотъемлемым атрибутом политической власти, однако подход к данному атрибуту был чисто инструментальным. Поэтому власть не желала признавать рационализм в качестве *высшего источника своего авторитета*. И в этом было существенное сходство между российским и прусским (впоследствии общегерманским) правящим классом.

Однако в отличие от Германии, в Российской империи не было консолидированного отношения правящей элиты к рациональному авторитету. Какая-то часть высшего чиновничьего корпуса, подпитываясь импульсом, заданным доктриной официальной народности, вообще не желала видеть нормы и ценности европейского Просвещения в качестве атрибутов политической власти в России. Наиболее ярко это проявилось в позиции Победоносцева, который был ревностным сторонником идеи К.Леонтьева, призывавшего «подморозить Россию». Часть высшего чиновничества с подобной позицией была не согласна. Такие деятели, как братья Милютины, Лорис-Меликов, Абаза, поддерживаемые Председателем Государственного Совета Великим князем Константином Николаевичем, выступали на рубеже 1870–1880-х гг. за «немецкий сценарий» развития, который выражался в создании *формальных* конституционных норм при сохранении высшей политической власти самодержавия, его права контролировать сами *формы* этих норм. После убийства императора Александра II 1 марта 1881 г. произошло прямое столкновение по этому вопросу в присутствии нового самодержца Александра III. Мы располагаем информацией об этом совещании из двух независимых источников: дневников Председателя комитета министров Валуева⁴⁸ и секретаря Государственного Совета Перетца⁴⁹. Вследствие того, что многие места в этих документах почти дословно совпадают, мы можем сделать вывод об их адекватности действительным событиям. В ходе обсуждения предложений министра внутренних дел Лорис-Меликова о создании собрания представителей, избранных губернскими земскими собраниями и городскими думами, резко отрицательную позицию заняли Победоносцев (Обер-прокурор Святейшего Синода), Марков (министр почт и бывший министр внутренних дел) и престарелый член Государственного Совета (84 года) граф Строганов. Главным, можно сказать концептуальным, оппонентом выступил Победоносцев. По его мнению проект был принципиально чужд России, так как возводил надуманную, не укорененную в российской традиции преграду между самодержцем и темным необразованным народом. Наиболее резко на выступление Победоносцева отреагировал министр финансов Абаза, указавший помимо прочего на то, что Победоносцев совершенно не принимает во внимание наличие, наряду с необразованными массами, образованных слоев населения. То есть в этой драматичной ситуации фактически столкнулись два подхода российской влас-

⁴⁸ Валуев. Дневник, 1877–1884. Пг., 1919.

⁴⁹ Перетц. Дневник, 1880–1883. М., 1927.

ти к авторитету разума: с одной стороны, культ образованности и развития народного просвещения распространялись самой властью, с другой – последняя постоянно испытывала недоверие к Просвещению, видя в нем скрытую угрозу своему авторитету. При этом оба подхода были едины в одном: исключительная *способность конституировать авторитет* самодержавия должна оставаться в руках самого самодержавия. Однако данного единства (в отличие от Германии) не хватало для консолидированных действий российской политической элиты.

Это положение лишний раз проявилось в противостоянии министра внутренних дел Плеве и министра финансов Витте на рубеже XIX–XX веков. Данное противоборство носило не только личный характер, так как за обеими фигурами стояли значительные властные и административные ресурсы. Любопытно, что по главному пункту противостояния (реформированию крестьянской общины) решение так и не было принято ни в ту, ни в другую пользу.

Таким образом, накануне революции 1905–1907 годов правящая элита оказалась расколотой по отношению к тому, каким образом и до какой степени уместно использование прогрессистских идей для укрепления существующей политической власти. Поэтому в ходе революции у властей предрержащих не было не только стратегии, но даже сколь-нибудь продуманной практики. Одно решение противоречило другому, по каждому серьезному нововведению возникали кардинальные разногласия. Пример тому – секретное совещание высших царских сановников по вопросу выборов в Думу и изменений в своде Основных государственных законов⁵⁰.

В конечном итоге были заимствованы немецкие рецепты, которые предполагали *инструментальный* подход к основным прогрессистским нормам и ценностям, то есть последние были введены в четко установленные формальные рамки. При этом способность менять эти рамки власть оставила за собой и прибегала к ней даже в тех случаях, когда это противоречило формальным принципам права: роспуск II Думы и принятие нового избирательного закона с правовой точки зрения можно квалифицировать как государственный переворот, совершенный верховной государственной властью.

* * *

Суммируя сказанное применительно к соотношению авторитета разума и авторитета власти в Германии и России, следует констатировать конфликтное взаимодействие этих явлений. Можно сказать, что *авторитет компетенции* (рациональные нормы и ценности) вступил в противоречие с *авторитетом полномочий* (претензии политической власти на самодостаточность). По сути дела в реальной политической жизни Германии и России конца XVIII – начала XX веков интеллектуальный авторитет не обладал *действительной* силой. По мнению Хабермаса реальное влияние интеллектуальному авторитету придают «не

⁵⁰ Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Пг., 1917; Былое. 1917, № 3–6.

⁵¹ Habermas J. *Wahrheitstheorien // Vorstudien und Ergaenzungen zur Theorie des kommunikativen Handels. F.a.M., 1989. S. 161.*

⁵² Fish S. *Fish versus Fish // Stanford Law Review. 1984, № 36. P. 1325.*

эмпирические или логические цели», но только «сила более лучшего аргумента», сила, которую Хабермас назвал «рациональной мотивацией»⁵¹. Автор берет на себя смелость утверждать, что данной мотивации либо вообще не было среди немецких и российских властей предрежащих, либо она играла очень незначительную роль. В результате обозначился непреодолимый разрыв между интеллектуальным авторитетом (носителем которого выступало образованное сословие обеих стран) и авторитетом институциональным (сосредоточенным в руках господствующей элиты). Данный разрыв имел негативные последствия для обеих сторон. По мнению американского теоретика права С.Фиша, интеллектуальный авторитет сам по себе не существует, так как весомость и реальное влияние интеллектуальной аргументации придают институты⁵². Даже если не согласиться с достаточной обоснованностью данного утверждения, все же следует признать, что реальное влияние интеллектуального авторитета в обеих странах зачастую блокировалось государственной политикой.

С другой стороны, институциональная санкция решений государственной власти в Германии и России зачастую не подкреплялась интеллектуальным авторитетом, что ослабляло значимость подобной санкции для образованной части общества. Тем самым интеллектуальный авторитет на протяжении долгого времени существовал *независимо* от институционального.

В результате власть в России не обладала интеллектуальным авторитетом, в Германии же общепризнанный интеллектуальный авторитет не находил реальной поддержки и признания у власти. В обоих случаях выдвигались чрезвычайно завышенные притязания: власть желала, чтобы общественно-политическая мысль служила ей, политическая философия требовала от политической власти соответствия своим интеллектуальным построениям.